

Содержание

Шестая койка	11
Петушок на палочке	25
Давай еще подождем	41
Свободу Луису Корвалану!	90
Отражение в зеркале	105
Единичка	119
Сертификат с желтой полосой	132
Бог из машины	161
Светофор у перекрестка	181
Дядька-дурак	208
Малаховка — Париж	218
Волшебная сила искусства	223
Синхронный перевод	237
Плач Ярославны	260
Нострадамус	273
Последний день	294
Чудо	314

Полет коростеля	330
Синий троллейбус	345
Пленница Эспаньолы	348
Тезка	395
Вовочка	410
Суточное дежурство	414
<i>Слова благодарности</i>	541

Шестая койка

Когда издательство затеяло переиздать моих двух “Паровозовых”, было решено выпустить их в новых обложках, уже в третий раз. Это чтоб и мне стало казаться, будто у меня не две книжки, а полдюжины. А на обложки придумали поместить мои фотографии того времени, о котором идет речь в повествовании.

Фотографии той поры у меня были. Немного, десяток-полтора. Их сделал в начале восемьдесят третьего мой друг Ванька Романов. Он тоже работал медбратьем, мы с ним одновременно пришли в реанимацию, как только окончили училище при Первом меде. Но если я туда попал случайно, можно сказать — сдуру, подав документы в училище после первого прошала в институт, то Ванька ни о каком врачебном по прище даже и не помышлял. Просто решил стать медбратьем, безо всяких дальнейших перспектив.

Он происходил из церковной семьи, что по тем временам казалось делом удивительным. Отец его был ктитором храма в Сокольниках, дядя имел

приход в Литве, а брат Колька зарабатывал на хлеб в качестве референта иностранного отдела Московской патриархии.

Жили они так, что не снилось никаким профессорам, народным артистам и даже фарцовщикам. Огромная квартира на Фрунзенской набережной, дача с двумя бассейнами, баней и бильярдом, а машины они меняли чаще, чем обычные люди ботинки.

Несмотря на это, Иван был парнем скромным, достаток не демонстрировал, лишь изредка позволял себе то на отцовских “жигулях” на работу приехать, то заявиться в канадской дубленке брата Коли.

Вот и тогда он притащил на субботнее дежурство какой-то диковинный фотоаппарат, хромированный, тяжелый, с большим объективом, затвор у которого спускался с солидным жужжанием.

Вечером как нельзя кстати нашлась свободная минутка, и мы давай фотографироваться. Молодые, бесполковые, нам тогда еще и двадцати не было. Поэтому все больше рожи строили, дурака валяли.

Альбом обнаружился в нижней тумбе шкафа, в самом дальнем ряду. Вот они, эти фотографии, стандартного формата, черно-белые. Я позирую на больничном фоне, под белым халатом угадывается хирургическая форма. Все как по заказу. Там же нашлись фотографии институтской поры и времен работы в Первой градской, как раз на вторую книжку, где заглавный персонаж уже малость постарше. Минут за пять я их отсканировал и скопом отоспал художнику издательства Андрею Бондаренко.

Тот уже ближе к ночи ответил, что для первой книжки вполне сгодится фотография, где я сижу на полу около койки. А для второй, по мнению Бон-

даренко, самая лучшая та, где забытый ныне фотограф подловил меня у кафедры оперативной хирургии, с папироской во рту, но подобное безобразие не пропустит цензура, так как содержит открытую демонстрацию курения табака, что нынче является абсолютно недопустимым, почти как призыв к свержению власти.

Поэтому над второй книжкой Бондаренко еще будет думать, а фотографию для первой он с чистым сердцем завтра же предложит издательству.

Уже попрощавшись, я вдруг решил внимательно разглядеть выбранную им фотографию во всех подробностях.

На ней я запечатлен сидящим в проходе между столом и четвертой койкой в первом блоке нашей реанимации, рука подпирает щеку. Вид у меня несколько уставший, немного печальный, чтобы не сказать — жалобный. На столе угадываются какие-то бумаги, пузырек дешевого клея и настольная лампа. За мной стоит аппарат для искусственной вентиляции легких модели РО-6, и если приглядеться, то можно увидеть, что ручка регулятора объема у него присобачена к пластиковой шкале крест-накрест пластирем.

Я тут же вспомнил этот аппарат — с удивительным постоянством я фиксировал всякую ерунду, на долгие годы накрепко врезавшуюся в мозг. У этого аппарата действительно во время работы регулятор объема медленно смешался с каждым дыхательным циклом, и чтобы он не сползал на максимум, его приходилось крепить подручными средствами.

Затем всплыла фамилия больного, что в то дежурство лежал на первой койке, — Мельников. Мельников накануне получил ножом в сердце во время драки на рабочем месте в инструментальном цеху. То, что

на заводах нравы суровые, я убедился за месяц школьной практики в качестве токаря на заводе ЗИЛ.

Мельникова привезли вовремя, моментально взяли на стол, заштопали, по части хирургии там был полный порядок, но из-за недостатка кислорода по причине массивной кровопотери у него пострадал мозг. И он, скорее всего на время, ну а может, и навсегда, превратился в полного дурачка. Лежал и сутки напролет распевал матерные частушки, так что к вечеру мы выучили их наизусть и даже подпевали про себя:

По болоту ходят утки,
Серенькие, крякают.
Мою милую ебут,
Только серьги брякают.

Когда мы утомлялись от этого вокала, то кололи ему седуксен, и на пару часов наступала тишина. Жена Мельникова очень жалела мужа, она была женщиной простой, со своими представлениями о реабилитации в послеоперационном периоде, поэтому нажарила ему полный таз котлет и торжественно вручила их мне в часы приема передач.

— Вы уж там проследите, чтоб Петя все съел, — попросила она, заглядывая мне в лицо, — а то загнется мужик от вашей шамовки больничной.

Мы с Ваней честно, маленькими кусочками, пытались кормить Петю, но тот, еще не отошедший от последствий недавней поножовщины, быстро утомился, насытившись всего-навсего половинкой котлеты.

Котлеты были такие красивые и источали такой умопомрачительный аромат, что мы недолго сопротивлялись искушению. Вечно сытый Ваня съел две,

а я четыре. А потом мы эту огромную миску в холодильник затолкали, совесть все-таки надо иметь.

Это было в субботу, а в понедельник Мельникова перевели в отделение. Его катили на хромированной финской койке, в ногах у него стояла эта миска с котлетами, и он распевал во всю глотку:

Пароход плывет по Волге,
Трубы зеленеются,
Девки едут без билетов,
На пизду надеются!

Санитары отводили глаза, мол, мы здесь совершенно ни при чем, а с дурака спрос невелик.

Да бог с ним, с этим Петей Мельниковым, хотя его слабоумие было и занятным. В это время на противоположном конце блока, на шестой койке, лежал другой человек.

Скорая доставила ее поздним вечером в канун Нового года. Это было не традиционное поступление с улицы, а перевод из другой больницы. Но переводы происходят днем, а тут прикатили на ночь глядя, да еще без предварительного согласования. Бригада пояснила, что в той больнице, куда она поступила позавчера, нет нейрохирургии, а у нас имеется. Поэтому решили везти сюда, ведь кроме изолированной черепно-мозговой ничего не нашли, вот нашим нейрохирургам и разбираться.

Все понятно. Пошли вторые сутки после госпитализации, она помирает, и тому стационару неохота летальностью показатели портить, вот и решили пациентку сбагрить, пока не поздно.

А то, что она помирает, было ясно уже при первом на нее взгляде. Лежала серая, с разбитым в кашу лицом, на каком-то грязном одеяле и дышала через раз. А когда в машине измерили давление, а там меньше восьмидесяти в систоле и брадикардия, сомнений и вовсе не осталось.

Как обычно, вяло поругали скорую. Что же вы в таком состоянииvezете больную с другого конца города и ничего во время транспортировки не предпринимаете? Хоть бы для понта банку какую прокапали, вы ж не таксисты. А у них стандартный ответ наготове, будто все они одну методичку читают. Мы, говорят, собирались и капать, и колоть, но так торопились, так спешили, что не успели. Им ведь действительно — только бы довезти. Таксисты и есть.

Перед тем как рвануть в ночь на своей кибитке, они сообщили на посошок, что, по их данным, девушку случайно обнаружили на дороге, по всему видно, что ее сбила машина, скорее всего грузовик, от удара она пролетела несколько метров, врезавшись головой в бордюр, а машина конечно же умчалась, найди ее теперь, да и искать никто не будет, это ж ведь не кино.

Мы ее принимали с доктором Мазурком. Он был комсоргом нашего отделения и все время пытался сделать из меня человека. Подлавливал в укромном месте и начинал:

— Леха, — спрашивал он устало, — ты ведь комсомолец?

Я обреченно кивал, понимая, куда он клонит.

— А знаешь ли ты, — продолжал Мазурок, — кто может считаться комсомольцем?

— Каждый субъект, достигший половой зрелости, Юрий Владимирович! — пытался безуспешно ост-

рить я. — И уж особенно тот, кто в состоянии запомнить, сколько орденов у Ленинского комсомола.

Про ордена у комсомола — это был любимый вопрос во всех райкомах на собеседованиях для вступающих в ряды ВЛКСМ. И что орденов этих шесть, знали все, включая совсем уж безнадежных олигофренов.

— Нет, Леха! — вовсе не собираясь поддаваться на мои провокации, торжественно объявлял Юрий Владимирович. — Комсомольцем может считаться тот, кто признает устав и вовремя платит членские взносы!

После чего следовал традиционный вопрос:

— Ты взносы платить собираешься?

Собственно, ради этого все и устраивалось.

Ну и под занавес, получив от меня заверения, что взносы мной будут уплачены в ближайшее время, повеселевший Мазурок обычно советовал:

— Да! Чем дурака валять, ты бы лучше физику учил, Леха!

Какой уж тут дурака валять при таком графике. А насчет физики — это правда. Я из-за этой проклятой физики к тому времени уже третий раз в институт пролетал.

Вот с Мазурком мы и колдовали полночи над этой девушкой. Она толком уже не дышала, сразу на аппарат загремела. Как только ее эти деятели со скорой доставили без интубации — непонятно.

Мазурок тогда стал у нее и лечащим врачом. Юрий Владимирович являл собой редчайший пример комсорга, но при этом хорошего и грамотного доктора. В этом смысле Наташе — так звали эту девушку — повезло. А в остальном дела там были совсем кислые. Тяжелейший ушиб мозга, кома. Ни сознания, ни дыхания, ни движения.

Нейрохирурги разводили руками, внутримозговых гематом там не оказалось, оперировать было нечего.

Ее положили в первом блоке на шестую койку, вели консервативно, лечили, не халтурили, но без особых надежд. Хотя она была молодая, всего девятнадцать, мне тогдашнему ровесница, мы-то знали и видели, как и у молодых заканчиваются такие травмы. Если и отек мозга не доконает, так кроме этого есть еще и пневмония, пролежни, сепсис.

Шло время. Она не умирала, но и не улучшалась. Лежала горячая как печка. При тяжелых травмах мозга температура шпарит из-за повреждения центральных структур, и такую температуру ничем не сбить.

А еще к ней приходила мама. Вернее, не совсем к ней. Тогда в реанимацию не пускали. Все контакты были в холле у дверей отделения. Поэтому она не видела свою дочь, а лишь четко являлась к часу дня, беседовала с Мазурком и приносила передачи. Каждый день. Неизменно приветливая и в ровном настроении. Это бывает далеко не всегда, чтобы родственники приходили каждый день. Да. Многие не знают, но пациентов в реанимации навещают ежедневно не так часто, как представляется. Некоторых совсем редко. А иных и вовсе никогда.

Я всегда безошибочно определял, как к тому или иному нашему больному относятся домашние, стоило мне открыть тумбочку, лишь по виду передач.

Передачи, что приносила мама Наташи, были на загляденье. Все бутылочки и баночки разложены, упакованы, подписаны. Что вводить в зонд на завтрак, что на обед, а что на ужин.

И там, в каждой передаче, всякий раз лежал маленький пакет. Точнее, бумажный кулек. К нему чер-

ной аптечной резинкой был прикреплен листочек. Половинка страницы из тетради в клетку. И несколько слов ровным красивым почерком.

*Уважаемые медики. Большое спасибо за заботу о моей дочери Наташе.
Это вам к чаю.*

За все эти долгие дни и недели текст не менялся.

В кульке были конфеты. “Мишки”, “Белочки”. Немного, граммов двести. Как раз на нашу сестринскую бригаду.

Каждый день. Каждый день кулек с этой запиской. И на каждом дежурстве, к каждому вечернему чаепитию мы вытряхивали эти конфеты на блюдце. И я видел, как кто-нибудь из сестер нет-нет да и смахнет слезу.

А ведь те, кто работают в реанимации, они далеко не сентиментальные люди. И чтобы их проняло, это надо постараться. Но у нее, у мамы этой Наташи, получилось. И дело вовсе не в конфетах.

Сами того не замечая, мы стали чаще к ней подходить. Чаше перестилать. Чаше крутить, вертеть, переворачивая с боку на бок. Устраивали ей мытье головы, даже в ванной купали, двое поддерживали на простыне, а так как она не дышала, еще кто-нибудь один проводил вентиляцию с помощью специального мешка. За несколько месяцев комы у нее не появилось ни единого пролежня, и это в отсутствие санитаров.

Однако все понимали, что шансов немного. И Мазурок всякий раз говорил матери, что вероятность положительного исхода невелика. Но та будто и не слышала, все так же являлась к часу дня для беседы, и кулек с запиской был в каждой передаче.

Когда к концу третьего месяца Наташа пошевелила пальцем, то матери говорить не стали, боясь обнадежить. Может, это какие-то остаточные рефлексы или судорога.

Еще через неделю появились отчетливые движения в правой руке. Спустя три дня она стала приоткрывать глаза на окрик. А еще через неделю стала сопротивляться аппарату. Задышала сама.

Но порой выход из комы после такой травмы — это еще ничего не значит. Можно начать дышать, даже ходить, но остаться растением. На всю отмеренную жизнь. Сколько мы выпустили таких. Лежат, уставившись в потолок невидящими глазами.

Я подтаскивал к ее койке стул, садился рядом, вкладывал руку в ладонь и приказывал:

— Пожми руку!

И чувствовал, как она своей теплой слабой кистью пытается сжать мои пальцы.

Чтобы исключить бессознательное, говорил:

— Пожми два раза!

Замирая, ждал. И она пожимала. Раз. И через секунду другой.

Сердце мое тут же ускоряло бег. Значит, не растение. Значит, есть надежда. Я не уходил сразу, сидел еще несколько минут и просто смотрел.

В день, когда ее решили отключить от аппарата, у ее койки собралось все отделение, даже буфетчица и сестра-хозяйка.

Мазурок сам вытащил ей трахеостомическую трубу и громко спросил:

— Как зовут тебя?

И она просипела:

— Наташа!

Кто-то из сотрудниц заревел, размазывая слезы.

— Как дела у тебя, Наташа?

Та обвела всю нашу толпу мутным еще взглядом и вдруг произнесла:

— Я беременна.

Тут все дружно засмеялись, стали хлопать Мазурка по спине:

— Ну Юрка, ну молодец, и лечишь хорошо, и времени зря не теряешь!

А тот смущенно махал рукой:

— Да ну вас, придурки!

А потом отправился в холл, где за дверями ждала ее мать.

Сегодня для нее хорошие новости.

Мы решили держать ее у себя подольше. Передержали лишних пару недель. Тех, кто так тяжело достался, не спешили переводить в отделение.

Было уже лето, я дежурил по второму блоку, когда со стороны холла раздался звонок. Раньше там у нас были двери из толстого стекла, к Олимпиаде на них даже нарисовали красивую эмблему “Москва-80”, но стекла быстро разнесли каталками, оказалось, что они хоть и толстые, но бьются в мелкую крошку. Поэтому установили обычные деревянные двери, покрастили их белым и приладили звонок.

За дверью стояла мама Наташи.

— Ой, Леша! Как хорошо, что вы сегодня дежурите! — Она знала всех нас по именам, выучила за все те месяцы. — Наташа сегодня хотела зайти, сказать спасибо. Нас в пятницу выписывают. Домой идем. Я сейчас только поднимусь за ней в отделение, мы минут через десять будем, ладно?

Почему-то я страшно раз волновался. Просто

места себе не находил. Наверное, потому что не видел Наташу с того дня, как ее отправили долечиваться в нейрохирургию. А еще потому, что наши больные очень редко приходят сказать спасибо. Мы почти никого их не видим после перевода. А когда случайно встречаемся в коридорах отделений, то не узнаем друг друга.

Я сбежал в гараж, судорожно перекурил и принял-
ся ждать.

Закатное солнце сквозь окна было в глаза, и когда они показались в дверях, у меня не получилось сразу разглядеть Наташино лицо, только силуэт, хотя я тут же отметил, что она идет сама, легко и без поддержки.

Потом, когда рассмотрел, то в первое мгновение даже дыхание перехватило. Как-то из-за всего вместе. А девочкой она оказалась очень красивой, ладной, стройной. В розовых брючках и полосатой футболке.

Нет, я бы никогда ее не узнал. Когда она у нас лежала, отекшая, опухшая, с ободранным об асфальт лицом, там даже возраст трудно было разобрать.

Она первой протянула руку и пожала мне пальцы. Сильнее, чем тогда, при первых проблесках сознания. И так же, как тогда, у меня заколотилось сердце и пересошло во рту, хотя это было обычное приветствие.

Я их усадил в кресла, а сам остался стоять. Разговор поначалу не клеился, высказывали первые, какие-то неловкие слова, к тому же я стеснялся глаза на нее поднять. Ведь мы чего только с ней не делали за это время, а тут такая! Она вдруг спросила:

— Много со мной было возни?

И я почему-то соврал:

— Да нет, ерунда!

Чуть позже, когда мы уже расслабились, разговарились, я заставил ее развязать косынку и полюбовался шрамом от трахеостомы. Нормально мы с Мазурком сработали, а то иногда смотреть страшно. Заметил, что плохо еще слушаются пальцы левой руки.

— Я, как только вижу своего инструктора по ЛФК, вернее, ее красные брюки в конце коридора, — с легкой улыбкой сообщила мне Наташа, — сразу пытаюсь удрать куда-нибудь, забиться, спрятаться, так больно эту руку разрабатывать.

Мы еще немного поговорили. Под конец я настолько осмелел, что спросил:

— Слушай, а почему ты, когда очнулась, сказала, что беременна?

Тут они обе переглянулись и засмеялись.

— Неужели так сказала?

Я подтвердил.

— Мы живем напротив роддома. И я часто смотрю, как там под окнами орут новоиспеченные папаши, как приезжают наряженные машины, как забирают мам с детьми, — стала объяснять она. — И часто я думала, настанет ли такой день, когда я буду лежать в этом роддоме и смотреть уже оттуда на окна нашей квартиры. А когда очнулась после какого-то странного тяжелого сна без снов и увидела вокруг людей в белых халатах, то, видимо, решила, что пришел этот самый момент.

За все время разговора мать не произнесла ни слова. Не отрываясь, смотрела на свою дочь и улыбалась. Уже надо было прощаться, я решил их проводить по лестнице до выхода на первый этаж. Пока мы преодолевали эти три десятка ступенек, я вдруг почувствовал, что не узнал что-то очень важное. И тут

понял, что именно. В дверях придержал мать за руку и спросил:

— Вы кем работаете?

— Медсестрой! — ответила она. — Я всю жизнь медсестрой работаю. Раньше в больнице, сейчас в поликлинике.

Вот оно что. Она знала, от кого тут все зависит. Понимала цену лишней секунды внимания. И я сказал:

— Спасибо вам большое!

Она взглянула удивленно, ничего не ответила и поспешила за дочерью, та уже подходила к лифту. Розовые брючки и футболка в полоску.

Больше я их никогда не видел.

Утром я ехал домой и впервые за долгое время ощущал не апатию и опустошенность, столь обычные после бессонного дежурства, а странное умиротворение. Настолько явное, что даже подумал — может, не такая уж страшная ошибка эта моя нынешняя работа. Да и в институт поступлю, мне бы только физику сдать. Все еще будет. Все не напрасно.

Книжка вышла с той самой фотографией. И теперь всякий раз, когда я смотрю на обложку, то думаю о тех нескольких словах на листочках в клетку и женщине, что много месяцев, день за днем, отвоевывала свою дочь у смерти.

Шестая койка, где лежала Наташа, в кадр не попала, но я знаю, что мне, тому, что на фотографии, сидящему между кроватью и столом, достаточно подняться, сделать несколько шагов и коснуться ее рукой.

Москва, апрель 2019